

Marel Lamar

Упокое блаженных

Marel Iamar

Упокоение блаженных

<https://litres.ru/74111976>

SelfPub; 2026

Аннотация

Был мальчик, и был холм. Мальчик был мёртв, и звали его Кай, хотя имя дал ему друг, потому что своего он не помнил. Ему было семь лет, и так будет всегда.

На холме лежали мёртвые. Они держались, пока их помнили живые. Когда живые забывали, мёртвые становились прахом. Это был закон, и закон был простой.

У Кая не было ни могилы, ни имени, ни одного живого, кто пришёл бы к нему. По закону его давно должно было сдуть с холма. Но он держался. Он сам не знал почему.

Был у него друг. Старый мальчик Стефано, который сто лет чинил чужие могилы. Была старуха, что приходила по пятницам и приносила конфеты. Потом они ушли. Так уходят те, кого помнили долго. Они уходят сытые, и это не страшно.

А Кай остался. Он узнал правду про себя, и правда была тяжёлая. Но он взял её и сделал из неё работу. Он стал ходить к забытым и говорить их имена. Он держал тех, кого бросили, потому что его самого когда-то бросили, а он не хотел, чтобы так было с другими.

Marel Iamar

Упокоение блаженных

Упокоение блаженных



Я забыл дни и ночи. Они слились в одну петлю, без начала и без конца, и я перестал считать. Сначала я считал. Я отмечал пятницы, потому что по пятницам приходила миссис Фригель, и зимы, потому что зимой на холме становилось тихо и белым-бело, и снег ложился на плиты так ровно, что нельзя было прочесть имён. Потом я бросил. Считать имеет смысл, когда ждёшь конца счёта. А у меня его не было.

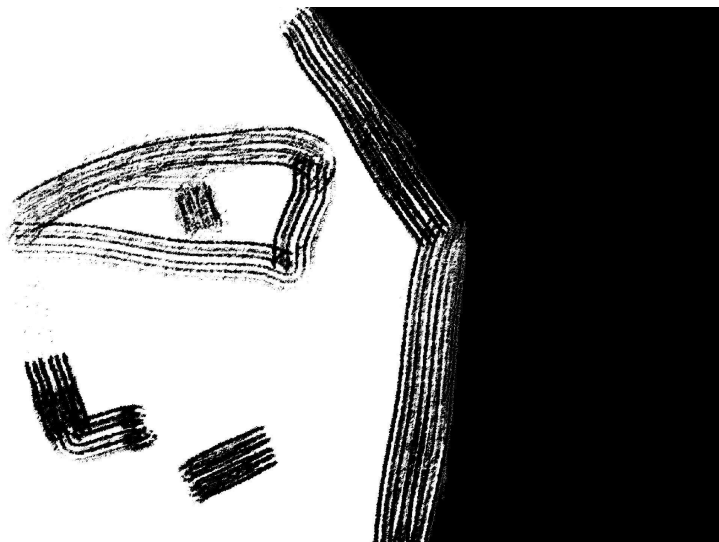
Я забыл мать и отца. Мне казалось когда-то, что они качали меня в колыбели, пока я спал, и пели надо мной, и держали мою руку, когда мне снилось плохое. Теперь я думаю, что это был чужой сон, который я подобрал на дороге и принял за свой. Так бывает здесь. Подбираешь чужое и носишь, потому что своё забыл.

В целом я достиг того, чего хотел при жизни. Я хотел забыться в смерти и смотреть, как страдают по мне те, кто меня не уберёт. Как плачет мать. Как плачет друг. Как не выносит моей смерти подруга, которой у меня, кажется, и не было. Но я забыл их лица. И теперь, сидя на чужой ограде и качая маленькими ногами, я понимаю, что месть, о которой мечтаешь, теряет вкус ровно в тот миг, когда забываешь, кому мстишь.

Я мёртв. Все мои воспоминания лежат в безымянной могиле где-то на краю пустого холма. Только могилы той нет. Это я узнаю позже. Пока же мне кажется, что она есть, как кажется человеку с отрезанной ногой, что нога ещё чешется.

Кладбище наше большое и старое. Оно лежит на холме, и холм поднимается тремя уступами, как ступени для великана. Внизу, у дороги, новые могилы. Там мрамор, там фотографии под стеклом, там пластиковые цветы, которые не вянут и потому не пахнут ничем. Выше — старые. Кресты покосились, как пьяные, камень оброс мхом, и буквы на нём стёрлись до того, что и сам покойник не вспомнил бы своего имени. А на самом верху, где кончается ограда и начинается

голое поле, нет ничего. Там трава, и ветер, и ямы, в которых лежат те, кого хоронили без имени и без камня. Туда я и хожу, когда хочу побыть один. Там лежат мои, хоть я и не знаю, который из них я.



Мне нравится кладбище. Оно похоже на большой детский сад. Только каши на обед не дают.

Что такое каша, я уже почти не помню. Она была тёплая. Она была сладковатая и невкусная, и я отодвигал тарелку, и кто-то большой говорил мне есть. Я бы сейчас съел. Я бы съел две тарелки и попросил третью и не отодвигал бы.

Странно, чего хочется, когда у тебя уже нет рта, чтобы хотеть.

Детский сад мёртвых душ. Жаль, что души домой не забирают. Может, потому что родители их больше не любят. Может, поэтому и меня не забрали в тот день. Мне было холодно и больно, но я не помню. Я помню только, что ждал. Ждал долго, дольше, чем умел ждать, а потом перестал, и стало тепло, и я уснул, и проснулся уже вот таким — лёгким, как пёрышко, и тонким, как след дыхания на холодном стекле.

Здесь есть закон, и закон простой. Пока к тебе приходят, ты помнишь себя. Пока кто-то живой стоит над твоей плитой и думает о тебе и говорит твоё имя вслух или про себя, ты держишься. Ты помнишь, как тебя звали, и какого цвета было твоё пальто, и что ты любил на обед. Но стоит им забыть тебя, стоит траве закрыть твоё имя, и ты тоже начинаешь забывать. Сперва мелочи. Потом большое. Потом себя. И тогда ты становишься прахом — не телом, тело давно прах, а душой. Тебя сдувает с холма, как сдувает золу с остывшего костра, и никто не помнит, что ты был.

Это и есть вторая смерть. Её здесь боятся больше первой. Первая — это только дверь. А вторая — это когда за дверью уже никого.

А я хотел быть собакой. Хорошо быть собакой. С тобой играют, тебя вкусно кормят, и тебя любят просто так, ни за что, за то, что ты есть. Человека любят за что-то, и любовь кончается, когда кончается это что-то. А собаку любят так.

По крайней мере, я так думал, пока Стефано не рассказал мне про свою собаку.

Стефано — мой друг. Он старше меня. Намного старше, хотя на вид ему лет двенадцать, а мне семь, и так будет всегда, потому что здесь не растут. Стефано лежит на холме уже сто лет, а может, больше, он сам сбился со счёта. Он застал ещё те времена, когда сюда возили на телегах, запряжённых лошадьми, и хоронили в деревянных гробах без всякого мрамора, и плакали громко, в голос, не стесняясь. Теперь, говорит он, плачут тихо и быстро уходят. Времена изменились, говорит Стефано. Люди стали бояться своих мертвецов.

— Стефано, а тебя кто хоронил?

— Мать. И отец. И сёстры. Две сестры.

— А почему ты помнишь, а я нет?

— Потому что ко мне ходили. Долго ходили. Мать ходила, пока сама не легла рядом. Потом сёстры. Теперь одна. Фригель.

— Миссис Фригель твоя сестра?

— Младшая. Была младшая. Теперь старая совсем. Старше матери, какой я её помню. Смешно.

Он сказал «смешно», но не засмеялся. Стефано почти никогда не смеётся. Он говорит короткими словами, будто бережёт их, будто слов у него осталось мало и он не хочет потратить лишнего. Я спросил его однажды, почему он так говорит, и он подумал и ответил.

— Длинно говорят, когда боятся молчания. Я молчания

не боюсь. Я в нём живу.

Я тогда не понял. Я и сейчас не уверен, что понял. Но я запомнил, потому что Кай запоминает всё, что говорит Стефано, чтобы потом рассказать ему это обратно, когда он начнёт забывать. Но это будет позже. Пока он ещё помнит сам.

Про собаку он рассказал мне в один из дождливых дней. Дождь на кладбище — особое дело. Живым он мешает, и они не приходят, и весь холм наш, от края до края. Мы прятались под навесом старого склепа, где лежит целое семейство с одной фамилией и одним ангелом из камня над дверью. У ангела отбит нос. Стефано говорит, его отбили ещё при нём, мальчишки, живые мальчишки, что лазили сюда за яблоками.

— У меня была собака, — сказал он, глядя на дождь. — Дворняга. Рыжая. Звал её Лиской.

— И что с ней?

— Усыпили.

— Это как?

Он помолчал. Дождь шёл ровно, без ветра, прямыми нитями, и стекал с крыла каменного ангела, и капал ему с подбородка, будто ангел плакал, но лицом не двигал.

— Завели кошку, — сказал Стефано. — Мать завела. Кошка собаку не любила. Что-то надо было выбрать. Выбрали кошку. Лиску отвели к человеку, и человек её усыпил.

— А усыпил — это что? Это спать?

— Это спать и не проснуться.

Я подумал над этим. Я думал долго, дольше, чем Стефано говорил.

— Значит, её отправили в рай, — сказал я наконец. — Чтобы её там кормили получше. И играли с ней целый день. Раз она тут стала не нужна, её отправили туда, где нужна.

Стефано посмотрел на меня. У него странный взгляд, когда он так смотрит. Будто он хочет что-то сказать и решает не говорить.

— Да, Кай, — сказал он. — В рай. Конечно.

И больше ничего не сказал, и мы смотрели на дождь.

Миссис Фригель приходила по пятницам. Я знал это так же твёрдо, как знаешь, что после ночи будет утро. В пятницу, около двенадцати, у нижних ворот появлялась её фигура — маленькая, согнутая, в тёмном пальто зимой и в сером платье летом, с сумкой через плечо. Сумка была старая, потёртая до белизны на сгибах, и тяжёлая, и она оттягивала ей плечо на один бок, так что миссис Фригель шла немного боком, как краб.

Она поднималась на холм медленно. Холм для неё был высок. Она останавливалась на каждом уступе и стояла, держась за чью-нибудь ограду, и дышала, и я видел, как ходит её спина под пальто. Потом шла дальше. Я обычно бежал ей навстречу, хотя она меня не видела. Живые нас не видят. Но я всё равно бежал, потому что приятно встречать того, кто идёт к твоему другу, даже если идёт не к тебе.

— Смотрите, — кричал я остальным, кто был поблизости.

— Пришла. Пришла миссис Фригель.

К Стефано приходила сестра, и это было событие. На холме мало к кому ходят. Большинство уже забыты, и они сидят на своих могилах серые и тихие и почти не говорят, потому что забыли слова. А к Стефано ходили. И пока ходили, он был самым живым из всех мёртвых, и его уважали за это, как уважают богатого человека за его богатство.

Дойдя до могилы брата, миссис Фригель первым делом открывала ограду. Ограда была низкая, кованая, с завитушками, и калитка скрипела. Этот скрип я узнал бы из тысячи. Потом она поливала цветы. Цветы росли прямо на могиле, в земле, не в горшках, и это были красные розы, и тюльпаны, и ещё лаванда, которую миссис Фригель упрямо называла шишками.



— Шишки мои, — говорила она, поливая лаванду. — Цветите, шишки.

Стефано рассказал мне, откуда это.

— В детстве, — сказал он, — я не знал слова «лаванда». Сказал: шишки. Похоже же. Она маленькая была, поверила. С тех пор так и зовём. Шутка на двоих. Теперь на одну.

— Почему на одну?

— Потому что я уже не зову. Я только слушаю, как зовёт она.

После цветов миссис Фригель садилась на лавочку. Лавочку поставил кто-то давно, и она выросла в землю, и на ней

было хорошо сидеть. Миссис Фригель открывала сумку. Там лежали лекарства в коробочках, много коробочек, и термос, и конфеты. Конфеты были всегда одни и те же — «Красный мишка», в красной обёртке с медведем. Любимые конфеты Стефано при жизни.

Она высыпала их горкой на лавочку рядом с собой. Наливала чай из термоса. И начинала говорить.

— Ну вот, Стеф, — говорила она. — Я снова к тебе. Колено разболелось, спасу нет, но я дошла. Я тебе всегда дойду.

И рассказывала. Она рассказывала ему истории из их детства, и многие я знал уже наизусть, потому что слышал их по многу раз, из пятницы в пятницу, год за годом. Как они воровали вишню у соседа. Как Стефано упал с крыши сарая и сломал руку, и как мать его выпорола за это, а потом всю ночь плакала над его постелью, думая, что он спит, а он не спал. Как однажды зимой они вдвоём убежали к реке смотреть на лёд.

Стефано слушал это сидя рядом с ней на лавочке, которой она не видела. Иногда он морщился.

— Не так было, — говорил он мне тихо. — Не я провалился под лёд. Она провалилась. Я её тащил. Она перепутала. За пятьдесят лет всё перепуталось.

— Поправь её.

— Как? Она меня не слышит. Пусть помнит, как помнит. Главное, что помнит.

И в этом был весь Стефано. Ему было всё равно, правду помнит сестра или нет. Ему важно было только, что она помнит, что она приходит, что она говорит вслух его имя. Потому что пока она говорит «Стеф», он остаётся Стефано. А каким именно Стефано — тем, что провалился под лёд, или тем, что вытащил, — это уже мелочь.

Истории длились ровно одну. Одну историю за визит. Рассказав её до конца, миссис Фригель замолкала, пила остывший чай, сидела ещё немного, глядя на буквы его имени, которые она протирала рукавом каждую пятницу, чтобы они не зарастали. Потом тяжело поднималась.

— Ну, пойду я, Стеф. До пятницы. Ты тут не скучай.

И шла вниз, боком, держась за ограды. И конфеты оставляла на могиле, все, кроме одной, которую почему-то всегда уносила с собой. Я спросил Стефано, зачем она уносит одну.

— Съест по дороге, — сказал он. — Чтобы не так грустно вниз идти. Она всегда так. С детства. Одну конфету про запас, на чёрный час.

Конфеты, что оставались, доставались нам. Мёртвые не едят, но мы умеем брать у вещей то, чего живые не видят. Не сладость — сладость остаётся конфете. А память о сладости. Воспоминание о том, как это — есть конфету. Мы садились вокруг могилы, я, и Стефано, и кто ещё приходил, и брали по конфете, и сидели, и на короткое время к нам возвращалось что-то от прежней, тёплой жизни.

Стефано работал. Это редкость среди мёртвых. Большинство ничего не делают — сидят, или бродят, или тают потихоньку. А Стефано работал. Он чинил могилы.

Когда у кого-то откалывался камень, или кренился крест, или проседала земля, Стефано шёл и чинил. Не руками — руками мы ничего не можем, наши руки проходят сквозь вещи. Он чинил иначе. Он садился рядом с разрушенной могилой и помнил её целой. Он держал в голове, какой она была, когда была новой, и пока он помнил, разрушение шло медленнее. Камень не зарастал. Крест держался. Имя читалось чуть дольше.

— Зачем ты это делаешь? — спросил я как-то. — Это же не твои могилы.

— Чтобы их помнили дольше, — сказал он. — Раз свои живые забыли, пусть хоть я подержу. Немного. Сколько смогу.

— А кто подержит тебя, когда забудут?

Он долго молчал на это.

— Ты, наверное, — сказал он наконец. — Если будешь ещё тут. Ты живучий, Кай. Не знаю почему, но живучий. Тебя давно должно было сдуть, а ты держишься.

Я не понял тогда, что это значит. Что я держусь без могилы, без живых, без единого человека, который сказал бы вслух моё имя. По всем законам холма меня должно было не стать в первый же год. А я был. Я сидел среди оград, и пом-

нил, и спрашивал свои вопросы, и Стефано на них отвечал, как умел.

Однажды к нему пришёл заказ. Так он называл это — заказ. На холме был похоронен богатый человек, при жизни большой и важный, с огромной плитой чёрного мрамора и золотыми буквами. К нему ходили долго, целая толпа родни, но потом родня перессорилась из-за наследства и ходить перестала, и богатый человек начал забываться, как все. Но он был гордый даже мёртвый. Он не хотел забываться. И он позвал Стефано.

— Почини мне плиту, — сказал богатый человек. — Угол откололся. Я дам тебе за это. У меня много чего осталось.

— Что у тебя осталось, — сказал Стефано. — Ты такой же, как я теперь. Гольй.

— У меня осталась память о вкусе. Я при жизни ел лучшее. Я помню вкус всего. Я отдам тебе вкус мёда, какого ты не пробовал. Вкус мяса с огня. Гору вкусов, мальчик. Только почини.

Стефано подумал и согласился. Не ради вкусов, я думаю. Ради работы. Стефано не мог не чинить, как не может не течь река.

В ту пятницу всё было как всегда. Миссис Фригель поднялась на холм, боком, отдыхая на уступах. Открыла ограду — калитка скрипнула. Полила шишки. Я был при этом и видел, что ей хуже обычного. Она дольше стояла на уступах. Дольше дышала. Лицо у неё было серое, как у тех, кто скоро

ляжет сам.

— Сегодня тяжело идти, Стеф, — сказала она, садясь. — Старая я стала. Ты-то всё мальчик. Тебе хорошо.

Она достала конфеты. Высыпала горкой. Налила чай. И начала историю — про то, как они вдвоём бегали смотреть на ярмарку, и Стефано выиграл ей леденец на палочке, красного петуха, и она лизала его всю дорогу домой.

Я побежал звать Стефано. Он был у дальней могилы, у того богатого человека, возился с отколотым углом.

— Стефано. Стефано, ты где.

— Пришла миссис Фригель.

— Куда делся, — бормотал я, пробегая меж оград. — Я уже всё обыскал.

— Кай, я тут.

Он сидел у чёрной плиты, и угол под его взглядом срастался, медленно, как заживает царапина.

— Мне надо докончить, — сказал он. — Богатый обещал гору конфет. Гору вкусов. Угол совсем откололся.

— Я хотел сказать, там пришла твоя сестра.

— Да? — он не поднял головы. — Тогда я dokonчу и приду. А ты ступай к ней. Посиди рядом. Послушай историю. Поможешь мне потом её поправить.

— Есть, Стефано.

И я побежал назад, к лавочке, к горке конфет, к истории про красного петуха. Я бежал и был счастлив, насколько мо-

жет быть счастлив мёртвый мальчик, — потому что пятница, и сестра пришла, и сейчас придёт Стефано, и мы будем слушать, и будет почти как у живых.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.